

К 200-летию со дня рождения
С. Т. АКСАКОВАПоследний
поклон

Сквозь забытье, сквозь полусон-полуобморок, сквозь плач отца и отчаянья матери, сквозь обиженных врачами на умирание одиннадцатилетний отрок Сережа Аксаков вдруг обнаружил себя вынесенным из кареты и уложенным в высокой граве лесной поляны, в тени дерев. Лес, тень, цветы, ароматный воздух малыши так покорились, что упросил не трогать его с места. И еще Сережа обнаружил, что лошади выпряжены и пущены на граву близкохонко от него, и ему это было приятно. Он не спал, но чувствовал необыкновенную бодрость и какое-то внутреннее удовольствие и спокойствие или, вернее сказать, не понимал, что чувствовал, но ему было хорошо.

ЧУДНОЕ, целительное действие природы одарило Россию писателем, захватившим странное и необычное положение в отечественной литературе. Начнем с того, что одни из лучших своих книг — «Детские годы Багрова-внuka», запечатлевших не просто начало исцеления безнадежно больного мальчика, но и процесс смысла души будущего писателя с природой отчего края, старый попусту Аксаков продолжает близким чуть ли не на пороге своей смерти. Пятьдесят восемь лет пролетело между тем временем, когда излишне впечатлительный и предельно правдивый мальчик Сережа открыл для себя радость семьи и радости мира — стихию весенних половодий, буйной роскоши летней башкирской станицы и удивительно точным воспоминанием о рождении души будущего художника. Что же запомнили эти годы?

Пробуя пера Сережа Аксаков начал сразу же после выздоровления, заведя две тетради из толстых синих бумаг, куда еще детским слогом заносил свои охотничьи и рыбакские наблюдения над по-встречавшимися ему зайчиком, белкой, болотным куликом, плотицкой, пекарем. Он считал, что записывает никому не известные открытия, и был по существу прав. Открытия эти принадлежали только ему и исподволь подготовляли будущего автора «Записок об ужении рыбы» и «Записок русской охоты» Оренбургской губернии.

А еще стихи, которые он начал писать годами к пятнадцати, в казанской гимназии. Но пуще сочинительства стихов он любил декламацию и «игру на театре», собираясь даже в университетские годы написать что-то вроде рассуждения об умении, искусстве, читать. Самое главное, считал молодой Аксаков, это преодолеть все поддельное, неестественное в чтении, а может быть, в себе самом. Непрятные фальши, бесконтрольное и вроде бы безыскусственное письмо Аксакова во многом определило его вскынувшую страсть к театру, который он сам сравнивал с безумным своим увлечением охотой.

ТУТ, наверное, уместно напомнить, что корни аксаковского таланта лежат в восемнадцатом веке. Девять первых лет ласковый, болезненно-впечатлительный ребенок прожил в старом стиле, чья староватость, патриархальность не спешили уступать веяниям

века девятнадцатого. Здесь, по словам Владимира Соловчука, удивительно другое: уходя корнями (и лексикой) в восемнадцатый век, Аксаков своим ветвями достигает до нас, и, дотрагиваясь до этих ветвей, мы видим, что это не какнибудь омретвивший сушин и хворост, а живые, полонковые ветви.

В лучинах своих стихах таким ведь был и Державин, с которым двадцатичетверехлетний Аксаков встретился в декабре 1815 года. Он читал патриарх русской поэзии его же собственные стихи, которые, как говорил Пушкин, «несмотря на неправильность слова, исполнены порывов гения». «Читай его», — оценивал далее державинский стих Пушкин, — кажется, что читавши дурной вольной перевод какого-то чудесного подлинника».

Каждый, кто впервые прочтет Аксакова (а мимо него проходят не только в школе, но и зачастую и на филфаке пединститута), почувствует прелест новизны, очарование русского пейзажа, волшебные портреты нравственно прончных русских людей (взять хотя бы нежный образ отца писателя или благородную, горячую, порывистую матеря героя «Семейной хроники»).

Но ведь все эти якобы дикарьеские по стилю книги — «Записки об ужении рыбьи», «Записки ружейного охотника...», «Семейная хроника», «Воспоминания» и «Детские годы Багрова-внuka» Аксаков напишет в последнее десятилетие своей жизни, когда не только Карамзин, но и Пушкин с Гоголем уже на свете не было...

И не из голголовской «Шинели» выходил Аксаков. Он не позитивизировал своих помещиков, но и не вынесал их и тем более не гневался на них. У горячо обожавшего им Гоголя всем творчеством двигало воображение, фантазия. У Аксакова исключительно память, без всяких намеков, символов, преднамеренности. Ни разу так высоко оценил его «Семейную хронику» и «Детские годы Багрова-внuka» Лев Толстой, автор знаменитой трилогии. Не случайно уроки Аксакова так и иначе чувствуются у Бунина в его неблевском произведении «Жизнь Арсеньева» и у Виктора Астафьева в «Последнем поклоне».

И не в том, конечно, дело, что Бунин или Астафьев, прочитав «Багрова-внuka», тут же принесли сочинить нечто подобное. Но вот если прислушаться к нежному, чуткому, отзывчивому сердцу Сережи Багрова, то, конечно же, почувствуете, что к нему окажется близок астафьевский малычик Витя, который еще не знает, сколь несовершена, недобра бывает человеческая натура, но все равно пытается как-то понять, простить взрослых, пожалеть их.

ДА, у Сергея Тимофеевича Аксакова не было ни одной строчки, оторванной от той прекрасной, полной жизни, которую он прожил. И прекрасная книга детских воспоминаний — последний поклон писателя, его завет молодым на добро и нежность, как же мне не быть благо-

Б. ВОЛКОВ.

Снеговая белая туча, огромная, как небо, обтянула весь горизонт, и последний свет красной догонающей вечерней зары быстро зачеркнуло густо пепельно. Вдруг наступила ночь... Наступил буран со всей яростью, со всеми своими ужасами... Все сплюхнуло, все смешалось... Земля, воздух, небо превратилось в пучину кипящего снежного пракха... Прочтите, и теперь вспомните пушкинское: «Облако обратилось в белую тучу, которая тяжело поднималась, росла и постепенно облегла небо...»

В Аксакова, конечно, больше подобостий, на него нет и строчки, оторванные от собственного бытия, собственного видения, придуманный, рожденный фантазией. Он не откликавшись от увиденных подобностей и не использует уже оплощеных эпитетов, отчего его простого, спокойного и отчелившего повествования веет свежестью и оригинальностью.

И не из голголовской «Шинели» выходил Аксаков. Он не

позитивизировал своих помещиков, но и не вынесал их и тем более не гневался на них. У горячо обожавшего им Гоголя всем творчеством двигало воображение, фантазия.

Из России в эмиграцию, на чужбину он вывез такое количество эрзяльных, вкусо- и слуховых ощущений, что стал беспрорывным рекордсменом по этому виду памяти.

Из романа в роман заставил он своего лирического героя — свое второе «я» — проходить несметное число раз одним и тем же маршрутом к родному дому. Той дорогой, которую он знал «на ощупь и на глаз, как знаешь живое тело». Навсегда в его памяти осталась «старый, в елочном стиле, деревянный дом, выкрашенный бледно-зеленым цветом, большой, крепкий и необыкновенно выразительный, с балконами на уровне лиловых веток и верандами, украшенными драгоценными стеклами». Опять и опять на страницах своих книг воскрешал он речку, «искрывающую промеж парчовой тиньи» мост, «вдруг разворвавшийся под копытами» коня; парк, «там омраченный хвойей, тут озаренный листовой берес, громадный, густой и многодорожный».

В своей книге воспоминаний «Другие берега» Набоков писал: «Допускаю, что я не меру привязан к самым ранним своим впечатлениям, но как же мне не быть вспоминанием поэмы прошлого, я посмотрю в окно и увижу русскую осень».

Не случайно в творчестве писателя возникает навязчивый мотив, «звук путеводной ноты»: возвращение в Россию под чужой фамилией (скажем, «Никербокер»), по подложенным документам, с измененной до неузнаваемости внешностью. Это рискованную затею осуществляет его герой Мартын в романе «Подвиг», который отправляется на верную смерть в большевистскую Россию, перейдя границу где-то под Ригой. А еще герой рассказа «Посещение музея» случайным, фантастическим образом обнаружит себя шагнувшим из летнего немецкого города в заснеженный Петроград.

Набоков с удивительным

упорством лепеля неисполнимую мечту о том времени, когда Россия вдруг «встряхнет дурной сон, полосатый шлагбаум поднимется, и все вернутся, займет свои прежние места — и Боже мой, как подросли деревья, как уменьшился дом, какая грусть и счастье, как пахнет земля».

Русская эмигрантская ли

тература той поры оставила

множество прекрасных стран

ниц, окраинных ностальгий.

Каждый из писавших

мог повторить о России слова

Зинаиды Шаховской: «Это

моя страна, но не мой

рай». Потчи в каждой из на

записанных на чужбине строк

звучит пронзительный мотив,

ставший рефреном на долгие

десятилетия: «Когда я вер-

нусь».

«А когда мы вернемся в

Россию? — спрашивал Набоков.

— Какой-то идиотский

сентиментальностью, каким

хищным стоном должна зву-

чать эта наша невинная на-

дежда для оседлых россиян.

«Русский писатель, эмигрирующий на Запад, — он ведь с собой ничего не берет. Немного воспоминаний и чемодан, в котором фрак для Стокгольма».

В. МАКСИМОВ.

стоинством нес бремя изгнания и бездомности. Какой разительной верой в свою правоту проникнуты эти вот строки: «Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Презираю россиянина-зубра, ненавищающего коммунистов, потому что они, мол, украли у него деньжата и дестини... Моя тоска по родине лишь своеобразная гиперграфия тоски по утраченному детству».

Это лишенное каких-либо материальных притязаний признание помогает понять один из персонажей романа Андрея Битова «Пушкинский дом». Дядя Диккенс, старку-дворянин, принадлежит замечательному по афористичности суждению: «Аристократия является высшей формой приспособленности и самой жизненной формой. Потому что именно тот, кто все имел, способен, не теряя духа, все потерять: именно тот, кто владел, может знать, что не в том, чтобы иметь, дело... Подлинный аристократизм — это способность обйтись без всего и до конца сохранить себя».

И все же: насколько осознанна и пережита была им потеря Родины? Странно: Юноша Набоков не глядел с борта парохода с тоской в глазах на постепенно удаляющийся русский берег. В тот момент, обдумывая очередной шахматный ход, он не отрывал глаз от шахматной доски. Цинизм? Ни в коем случае! Позже он сожалел о том, что не провел по последним минутам на корне корабля. Дело здесь не в его равнодушии. Те, кто уезжал из России в начале двадцатых, были уверены, что пройдет год-другой и их вынужденное изгнание кончится. Уез-

да ведь она не историческая, — только человеческая, — но как им объяснить?»

Возвращаться в Россию было так же невозможно, как и вернуть счастье детства, ибо Набоков знал, сколь пророческими могут оказаться для него его собственные строки:

«Бываю ночи: только лягу, в России поплынет кровать; И вот ведут меня к оврагу, Ведут к оврагу убывать. И, сам себе противоречу, одоговариваю:

«Но, сердце, как бы ты хотело, чтоб это вправду было так: Россия, звезды, ночь расстрела и весь в черемухе овраг!»

Случайно или нет, эти строки вызывают ассоциации с трагической судьбой Николая Степановича Гумилева, казненного в двадцатых числах августа 1921 года. В числе других приговоренных его заставили вымыть себе ступни, диктовали стихи и заслуживший убийственный отзыв Зинаиды Гиппис («Передай это тему юноше, что он никогда не станет поэтом»), вырос в писателя такого огромного дара слова, что им по праву закрывается золотая книга русской классической прозы.

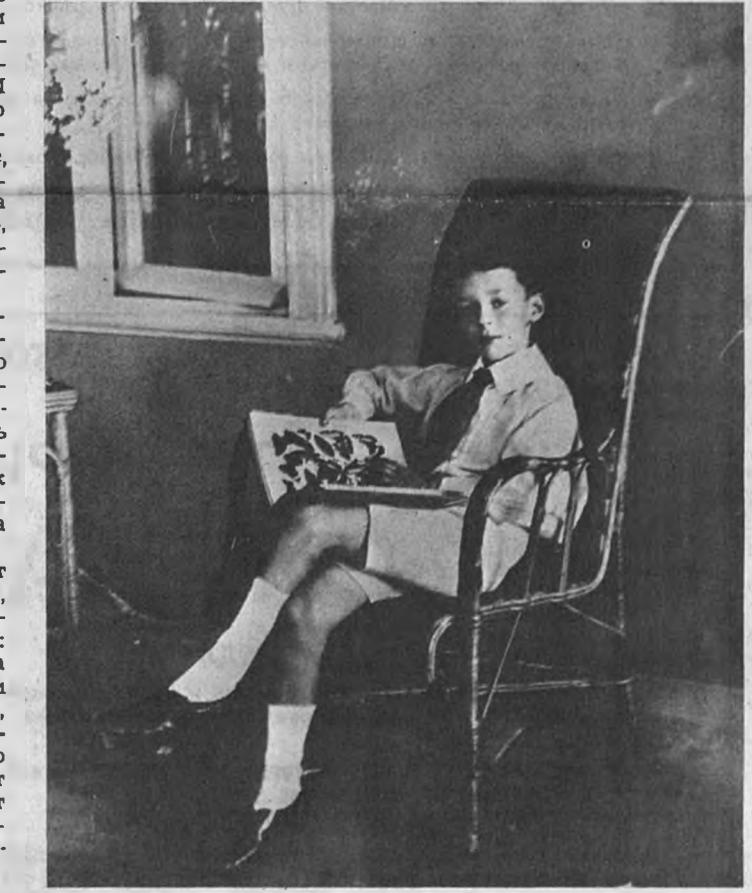
Что же касается «нагруженности русским», то он однажды неожиданно заметил: «В смысле раннего набирания мира русские дети моего поколения и круга одарены были воспримчивостью поистине гениальной, точно судьба в предверии катастрофы, которой предстояло убрать сразу и навсегда прелестную декорацию, честно пытавшуюся возместить будущему потери, на деляя ими душу тем, что им по годам не приходилось».

Наделенный удивительной восприимчивостью к окружающему миру, мальчик унес в своей памяти такое количество примет, знаков, которые до самой смерти питали его воображение. До конца жизни он творил свой мир, свое королевство, в котором «все так, как должно быть, ничто никогда не изменится».

С годами он научился



одинокий король



прятать свою боль за холодной надменностью, получившую признание писателя. Но каким же незащищенным предстает он в своей мечте: «Быть может, когда-нибудь, оторвавшись от всякой тоски по родине, от всякой родины, которая со мной, во мне, пристала как серебро морского песка к коже подошв, живет в глазах, в крови, придает глубину и даль заднему плечу каждой жизненной надежде?»

И дальше, словно не в силах молчать о надежде, герой Набокова договаривается: «Когда-нибудь, оторвавшись от всякой тоски по родине, от всякой родины, которая со мной, во мне, пристала как серебро морского песка к коже подошв и давно сбиты каблуках, чувствуя себя привидением... я еще выйду в той станции, и подойду к загородным подошвам и сяду».

«Быть может, когда-нибудь, оторвавшись от всякой тоски по родине, от всякой родины, которая со мной, во мне, пристала как серебро морского песка к коже подошв, живет в глазах, в крови, придает глубину и даль заднему плечу каждой жизненной надежде?»

Ее предсказание сбылось. Но он и сам «наверняка знал», что вернется в Россию: «Во-первых, потому, что увел с собой от нее ключи, а во-вторых, потому, что все равно когда, через сто, через две-три лета, буду жить там в своих книгах или хотя бы в подстрочном примечании исследователя».

Владимир Набоков умер, не узнав о своей первой публикации на Родине, так и оставшись в нашем сознании русским литературным изгнаником, который от родных берегов дальше Америки не уезжал и ближе Швейцарии не возвращался.

Он знал, что в одну руку не влезет веяния войны, даже если эта река такая медленная, как Оредеж...

Т. ГАГЕН.

На снимках:

■ Отец и мать писателя.
■ Фотография В. Набокова, сделанная К. Булой. 1908 год.

■ Дом с колоннами в Рождество, который Набоков унаследовал от деда. Фото А. Спицына.